

**Карен Араевич Свасьян –**

доктор философских наук, с 1993 года живёт в Швейцарии, где занимается лекторской и издательской деятельностью при Forum für Geisteswissenschaft Zürich, автор многочисленных книг на русском и немецком языках

# Habemus Papam

**1**

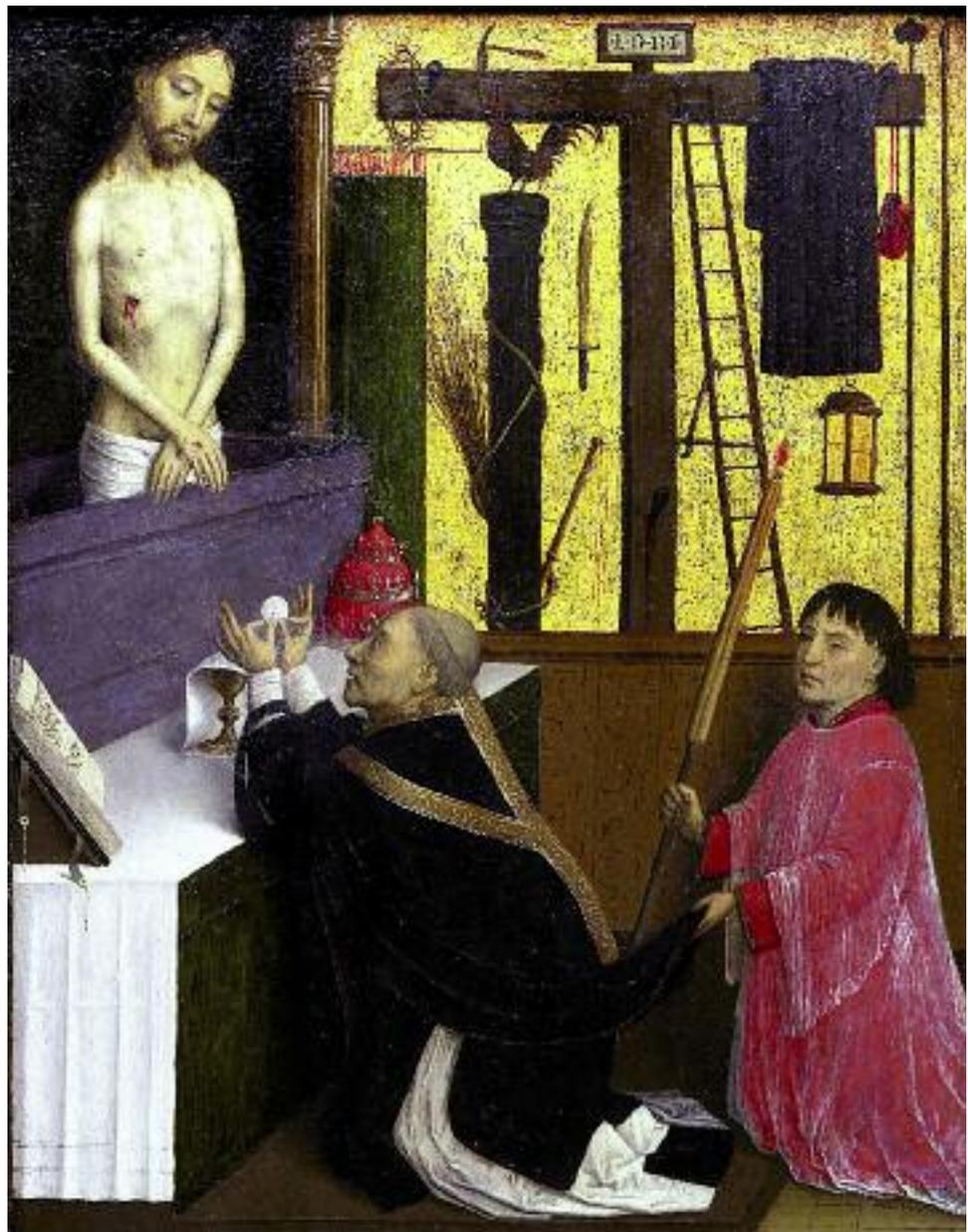
Наверное, начать надо будет с уяснения сути религиозного – лучше всего на примере христианства. Посыл предельно прост и ясен: это вера, *sola fide*, с которой начинается, на которой держится и без которой кончается всякая религия. Но вера – это один (субъективный) полюс религиозного, другой (объективный) полюс которого – Откровение. По модели известной феноменологической формулы: вера есть всегда вера во *что-то*. «Что-то» веры называется Бог, а способ, которым Бог себя обнаруживает, – Откровение. Само по себе Откровение не есть религия. Это мистерия, событие, если угодно, некий факт трансцендентной значимости, который как *факт* должен, а как *трансцендентный* не может быть воспринятым. Таким образом, вера оказывается верой в невоспринимаемый факт. Бога, по словам самого Бога, нельзя увидеть, не умерев. Понятно, что для устранения этого противоречия и соотнесения обоих полюсов – фактического незримого Бога и веры в Бога – требуется некое посредничество, своего рода *tertium comparationis*, переносящий факт из транс-

цендентного в земное. Посредником выступает Церковь, опирающаяся на традицию в лице немногих отцов (*patres ecclesiae*). Церковь и осуществляет перенос факта Откровения из онтологического в филологическое, из события – в рассказ о событии, после чего Слово как Сущее уступает место Сущему как слову – в зыбких поначалу, но неотвратимых перспективах будущего номинализма. Рассказ о событии (Писание и уже вся совокупность священнослужения) лишь усугубляет невоспринимаемость *факта* его непонятностью: образами, символами и загадками, в которые обычный человеческий рассудок упирается рогом непонимания. Богослов объясняет: непонимание здесь не дефект, а естественное состояние. *Потому что понять умом это нельзя*. В это можно только верить сердцем. Причем так, что чем непонятнее уму, тем доступнее сердцу. Там, где высокомерный ум застревает в себе, как в тупике, вера сдвигает горы и делает блаженным.

**2**

Понятно, что в этом раскладе составляющих – Откровение–Церковь–

вера — решающая роль принадлежит посреднику. Между «Богом на небе и тобою на земле» (формула Карла Барта) вклинивается богослов как своего рода *управделами*, или *опекун*, или *поверенный*, скорее всего, и то, и другое, и третье, а по сути, *всё*. Он и есть активная креативная сторона, устанавливающая правила религиозного поведения, причем, что особенно интересно, для обеих сторон. Потому что прежде чем верить, надо же знать во что, а чтобы знать во что, надо же прежде определиться с самим «*что*». История первых веков христианства демонстрирует в этом отношении подлинный шедевр политического креационизма, не только выдерживающий любые сравнения с собственно политической (мирской) историей, но и — в ряде существенных случаев — задающий ей тон. Нужно подумать о том, среди какого количества самых пестрых и противоречивых верований, суеверий, сект формировался будущий катехизис, догматика вообще и каких нечеловеческих усилий стоило противопоставить этим центробежным духосмесительным практикам единый столп веры. Еще раз: правильная вера — это когда верят в правильного Бога, а правильный Бог — это тот, существование и поведение которого регламентировано богословским протоколом: сначала в спорах с чужими, а потом и между собой. Неслучайно, что история христианства с самых ранних времен протекает в линии непрекращающихся войн и погромов, где по одну сторону находятся «*свои*», а по другую — еретики, или инакомыслящие — «*диссиденты*» (см.: 1 Кор. 11: 19). Параллельно: где по обе стороны находятся «*свои*»: правильные «*свои*» и неправильные «*свои*». Разумеется, о том, как функционирует механизм, не при-



Симон Мармион. Месса святого Григория. Около 1460–1465 годов

### Иоганнес Баптист Катчталер:

**«Католический священник может не только явить Христа на алтаре <...> он может даже принести Его, вочеловеченного Сына Божьего, в бескровную жертву живым и мертвым. Христос, единорожденный Сын Бога-Отца, который сотворил небо и землю и на котором держится вселенная, покоряется здесь воле католического священника».**

нято говорить, не принято даже догадываться. Всё выглядит так, как и должно выглядеть: наверху Бог, внизу «*мы*», а посередине Церковь как своего рода коммутатор (*religio*). Тем любопытнее оказываются редкие свидетельства вроде следующей проговорки из пастырского послания зальцбургского архиепископа Иоганнеса Баптиста Катчталера от 2 февраля 1905 года. Здесь чествуются (католиче-

ские) священники, оказывающиеся более могущественными, чем Бог: «Воздайте честь священникам, ибо они обладают властью освящать дары. — Силу освящения и рукоположения, эту чудесную власть, имеет католический священник, и только он, а не протестантские пасторы. — Власть освящать дары, являть Тело Господне с драгоценной Кровью во всей полноте Его святой человечности и Его

Божественности в виде хлеба и вина; превращать хлеб и вино в истинное Тело и драгоценную Кровь Господа нашего, какая высокая, возвышенная, чудесная власть! Где, ради всего святого, есть еще власть, подобная власти католического священника? У ангелов? У Матери Божьей? <...> Католический священник может не только явить Христа на алтаре, запереть Его в дарохранительнице, снова извлечь Его оттуда и протянуть верующим для вкушения, он может даже принести Его, вочеловеченного Сына Божьего, в бескровную жертву живым и мертвым. Христос, единорожденный Сын Бога-Отца, который сотворил небо и землю и на котором держится вселенная, *покоряется здесь воле католического священника* (курсив мой. — К.С.)».

### 3

Парадокс религии, её бомба замедленного действия — альтернативность веры и знания. Тертуллиан во втором веке провел водораздел в формуле «*Афины или Иерусалим*»: «Итак, что общего между Афинами и Иерусалимом, между Академией и Церковью, между еретиками и христианами? Наше учение происходит из притвора Соломонова, который и сам учил, что Господа надлежит искать в простоте сердца своего. Что из того, если вам вздумается выдумывать стоическое, или платоническое, или диалектическое христианство! Нам же после Христа Иисуса, после того как нам возвещено Евангелие, нет никакой надобности учить что-либо или исследовать. Если мы верим, то мы не желаем ничего, что было бы больше веры». Эффективность этой установки, за редкими исключениями, засвидетельствована всей ранней историей христианства — от поджога библиотек до изгнания фи-

лософов. Когда потом спустя века изгнанное знание начнет возвращаться в христианскую Европу, оно уже будет нести на себе логотип не столько Афин, сколько Багдада, а его глубоко антихристианский характер окажется лишь свидетельством того, что маятник качнулся в другую сторону и что абсолютизация одной крайности не могла не спровоцировать абсолютизацию другой. В формуле «*Верую, ибо абсурдно*» центр тяжести лежит в причинном «*ибо*», соединяющем «*веру*» и «*абсурд*». Откровение оттого и абсурдно, что на него посягают силами мышления, полагая, что могут понять и объяснить *непонятное* и *необъяснимое*. Совсем другое, когда в непонятное и необъяснимое верят, и верят тем сильнее, чем нелепее оно являет себя в оптике знания. Знание — соблазн, грех и гордыня: извечный исследовательский грант Люцифера, получив который стипендиат рассчитывает познать Бога, а познав его, стать им (по апофтегме Мейстера Экхарта: «*Бог и я суть одно в познании*»). Дьявол искушает вопросами, на которые у веры нет ответов и от которых она обороняется запретами, отлучениями и кастрами. Впрочем, при случае и оплеухами — в романе «*Братья Карамазовы*»: «Как-то однажды, всего только на втором или на третьем уроке, мальчик вдруг усмехнулся. “Чего ты?” — спросил Григорий, грозно выглядывая на него из-под очков. “Ничего-с. Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?” Григорий остолбенел. Мальчик насмешливо глядел на учителя. Даже было во взгляде его что-то высокомерное. Григорий не выдержал. “А вот откуда!” — крикнул он и неистово ударил ученика по щеке. Мальчик вынес

пощечину, не возразив ни слова, но забился опять в угол на несколько дней». На несколько веков. Когда он потом вышел из угла, уже не как мальчик, а как ученый муж, он сам стал загонять в угол вчерашнего насильника, даже не подозревая о том, насколько прилежно он усвоил повадки и замашки последнего.

### 4

Хотя Римско-католической церкви и удалось удержать натиск Реформации, а большей частью даже и отбить его, это не могло уже иметь никакого значения на общем фоне вытеснения религиозной парадигмы иными парадигмами — политической, гражданской, научной. В борьбе против Лютера (в широком смысле — против *германства* как такового), от Тридентского собора до Тридцатилетней войны, религиозному фактору была отведена роль фигового листка, тщетно прикрывающего прагматические одержимости. По существу, Реформация разыгралась в плену той же ложной оптики, что и итальянский Ренессанс — рождение нового оба раза было принято за возрождение бывшего: христианского бывшего и античного бывшего. Лютеру, потрясенному масштабами разложения Церкви, казалось, что он её возрождает, тогда как в действительности он её уничтожал: вопреки Ницше, в пароксизме страсти ругавшему его за то, что он её спас. Можно было как угодно нападать на протестантизм и искоренять его всеми возможными и невозможными средствами. Решающим оставалось то, что, борясь с ним и даже побеждая его, не замечали, что находятся в его же силовом поле и действуют в рамках им же заданной секуляризации. Только уже не по течению, а против течения, и значит, оборо-

няясь от повального обмирщения и пытаясь спасти хоть какие-то реликты сакрального среди сплошных санационных работ и строительных лесов расколдовываемого мира. Лютер очищал Церковь от «сатирикона» и «декамерона», открывая, сам того не желая, дверь совсем иным реалиям. Прежнее религиозное призвание (*vocatio, Berufung*) стало после Лютера профессией, профессиональным призванием (*Beruf*) на основе знания. И уже в скором времени выяснилось, что если с теми, прежними (семью или больше), грехами можно было еще — пусть позорно, пусть провально, — но жить, то от этого не было уже никакого спасения. Знание, перенесенное в мир веры, разедало веру как ржавчина, и тут не помогли даже нечеловеческие усилия иезуитов, пытавшихся уже с начала XVII века перехватить инициативу, чтобы лишить дьявольских немцев монополии на знание. Между тем дьявольщина была в другом. Знание, вторгаясь в мир веры, обнаруживало себя как неадекватное и агностичное. Чего оно хотело, так это быть *опытным знанием*, но если опыта его вполне хватало еще на наблюдение и объяснение свободно падающих тел, то к мирам «души» и «духа», нечувственного вообще у него, за отсутствием соответствующего опыта, просто не было доступа. Западный мир шумно и ликующе приобщался к теориям и практикам номинализма, и не было ничего удивительного в том, что ни богословы с их «научным богословием», ни склонированные с них атеисты с их «научным атеизмом» и слышать не хотели о гнозисе — не старом, фантастическом, а новом, научном. Протестанты оказывались в этом отношении лишь прилежными учениками католиков, а в ряде случаев обнару-



Юлиус Нисле. Договор с дьяволом. Фауст и Мефистофель. Около 1840 года

**Парадокс религии, её бомба замедленного действия – альтернативность веры и знания. Знание – соблазн, грех и гордыня: извечный исследовательский грант Люцифера, получив который стипендиат рассчитывает познать Бога, а познав его, стать им.**

живали даже большее рвение, чем учителя. Образовавшийся тупик впечатлял тупостью аккуратного в него попадания. С одной стороны, хотели знания, с другой — блокировали каждую тенденцию его быть адекватным. Теологии, даже не мечтавшей тягаться по строгости и точности метода с естествознанием, не оставалось ничего иного, как равняться на филологию, а со временем и становиться филологией.

Первой жертвой этого абсурдного превращения стал протестантизм. Уже с XIX века протестантская экзегеза удивляет мир кропотливейшим учетом букашек при полном пренебрежении к слону. Началось с того, что принялись рубить сук, на котором сидели сами, а кончилось тем, что, упав, даже не почувствовали ушибов и переломов. Давид Фридрих Штраус задал тон своей «Жизнью Иисуса», и с этого

Жизнь Мартина Лютера и герои Реформации. Раскрашенная гравюра XIX века



**По существу, Реформация разыгралась в плену той же ложной оптики, что и итальянский Ренессанс – рождение нового оба раза было принято за возрождение бывшего: христианского бывшего и античного бывшего. Лютеру, потрясенному масштабами разложения Церкви, казалось, что он её возрождает, тогда как в действительности он её уничтожал.**

момента приходилось лишь гадать о степени растяжки и жизнестойкости маразма. В начале XX века в Берлине ведущие теологи уже дискутировали на тему «Жил ли Иисус?», причем так, что позавидовать им могли бы самые отмороженные атеисты. Потом пришло время теологии кризиса, а еще позже, уже в наши дни, начались церковные перформансы и биеннале. Профессор богословия Герд Людемман назвал воскресение Христа величайшей нелепостью мировой истории. Епископеса Гамбурга Мария Епсен

предложила заменить на церквах крест яслями, мотивируя это тем, что крест мрачен и напоминает о смерти, а при виде яслей хочется улыбаться и быть добрым. Наконец, в представленном лютеровским городом Виттенбергом списке номинантов на Лютеровскую премию (в протестантском мире это примерно то же, что Ленинская премия в мире советском) за 2012 год фигурировали три московские дебилки, отплясавшие молебен в Храме Христа Спасителя. Характерно, что номинация была поддержана

Марго Кэссманн, бывшей председательницей Совета Евангелической церкви Германии и алкоголичкой, приобретшей скандальную известность за вождение автомобиля с 1,54 промилле в крови. Не следует только спешить с окончательной оценкой случившегося. Нелепость того, что такая номинация вообще могла иметь место, совсем не исключает другой нелепости, пусть не столь очевидной, зато не менее нелепой: того, что её в последнюю минуту отклонили.

5

Если Католическая церковь не дотянулась до этой рекордной планки, то прежде всего в силу своей несоизмеримо большей привязанности к традиции. Её беда в том, что со временем сама традиция

всё меньше вписывалась в современность, а после Второй мировой войны и уже ближе к нашим дням, когда мировоззренческий гегемон Средней Европы был вытеснен более удачливым англосаксонским гегемоном, и вовсе стала отторгаться ею. Диспозицию конфликта лучше всего удастся понять, если представить себе её в противостоянии *души ощущающей* (вместе со служащей ей *рассудочной душой*) и *души сознательной*. Это и есть противостояние веры и знания, где первая возникает на стыке невнятных ощущений и соответствующих им рассудочных представлений с перерождением тех и других в религиозное *чувство*, а второе — в элементе сознания. Нужно будет представить себе некий трансплантат средневекового мира с более чем миллиардным населением, вживленный в плоть современности, или нагляднее: Локка и Джефферсона, беседующими о первой поправке, толерантности и однополых браках с папой Иннокентием III и братом Джироламо Савонаролой. Понятно, что успешность диалога может зависеть исключительно от степени сдачи позиций одной из сторон, то есть от того, насколько один из участников способен молча кивать головой, слушая беспрерывно говорящего другого. Нет ни малейшего сомнения в том, что скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем либерал признает, что скотоложество, к примеру, — это извращение. Либерал *верит* в абсолютность своих сверхсовременных прав и свобод с иступленностью, аналоги которой в пору искать у религиозных фанатиков Средневековья, в то время как католик шаг за шагом сдает свои святыни под чудовишным прессом либеральной

прессы. *Он уступает*, потому что не может не уступать. Его часы отстают на пять или шесть веков. Правда, уступает он нехотя и часто скрежеща зубами, в отличие от своего протестантского поделщика, который по части уступчивости демонстрирует такую прыть, что от нее порой передергивает самих заказчиков. Но факт остается фактом, как бы парадоксально это ни выглядело: католицизм сегодня настолько же либеральнее либерализма, насколько этот последний, в свою очередь, католическое католицизма. Они кричат о толерантности и готовности отдать жизнь за право их врага высказать свое мнение, но сборища их скорее напоминают хлыстовские радения или беснования флагеллантов. Католики тем временем больше заняты скелетами в шкафах собственного прошлого и приносят извинения за содеянные бесчинства веры: от Джордано Бруно, сожжение которого кардинал Рагцингер, будущий папа, назвал «*нашей тяжелейшей виной*», до туземных народов Океании, у которых Иоанн Павел II попросил (через Интернет) прощения за преступления, совершенные католическими миссионерами.

## 6

В отмеченных рокировках ясно обнаруживается иллюзорный характер противостояния: призрачного прошлого, сияющего во что бы то ни стало вписаться в настоящее, и столь же призрачного будущего, выдающего себя за настоящее. Различие призраков в том, что один из них просрочен, а другой преждевременен. Один наследует некогда могущественную реальность, другой, за неимением никакой, сам создает таковую. Католицизм мнемоничен, загружен памятью и традицией.

Либерализм футуристичен, конструктивен и чист, как локковская доска. Душа ощущающая первого в сочетании с рассудочностью реальна, хотя и помечена задним числом, тогда как сознание второго — начисто отсутствующий феномен: это — сознание, в котором от сознания нет ничего, кроме имени и понятия, и которое есть только потому, что его называют и о нем говорят. Сила либерализма в том, что он толерантен по форме и тоталитарен по сути: настоящая практическая магия средствами не ребяческих пугалок, а высоких технологий, структурирующих информационное пространство. Здесь оглашаются *слова*, абсолютно пустые фразы, которые *post hoc ergo propter hoc* (после этого, значит, вследствие этого) магически уплотняются в органы восприятия реального. По сути, либерализм — это политический номинализм. Реальность тут не просто сведена к словам, но творится словами. Всё, что есть, есть слово, через слово и после слова. Оттого правилом номер один является здесь говорить — без умолку, до хрипоты, до беспамятства и в беспамятстве. Потому что *эта* реальность существует в той мере, в какой о ней говорится, и мгновенно исчезает, как только перестают о ней говорить. В этом и заключается более глубокий смысл парламентов (по-русски — гово-рилен), но прежде всего — свободной прессы, о которой еще Гёте заметил, что никто не кричит о ней громче, чем тот, кто хочет ею злоупотреблять, а Шпенглер добавил, что в чем мы действительно нуждаемся, так это не в свободе для прессы, а в свободе от прессы. Либерализм — не выдумка просветителей и антиклерикалов Нового времени, противопоставлявших средневековому «мракобесию» «свет» Разума и Прогресса, а всё то же «мрако-

бесие», только теперь уже в модальности не теизма, а атеизма, и значит — на службе у Разума и Прогресса. Это мрак, объявляющий себя светом и оттого воспринимаемый как свет. Противопоставленность традиции и консерватизму (в данном контексте — католицизму) — просто ложная оптика, рассчитанная как раз на тех, о свободах и правах которых пекутся конституции и поправки к конституциям. По сути, речь идёт не о вере и знании, а о *вере* и *вере*, одна из которых действительно вера, а другая — вера, прикидывающаяся знанием. Но в том и заключается особенность нынешнего времени, стоящего под знаком *души сознательной*, что в самой сознательной душе на этом этапе её становления нет ни *души*, ни *сознания*, ни *знания*, а есть всё та же прежняя астральность, прячущаяся под множеством рассудочных симулякров, которые, повторим это, за неумением познавать вещи *как есть*, заново конструируют их, выставляют напоказ и до тех пор внушают, что *так это и есть*, пока это в самом деле так и есть. Можно, конечно, без всякой примеси пессимизма и пораженчества говорить о конце. И в частности словами Карла Барта, последнего теолога мирового масштаба: «Не устранением греха, а устранением самого грешника устанавливается порядок, и не подношением лекарства, не хирургическим вмешательством оказывается тут помощь, а умерщвлением пациента». Но можно, и опять без той же примеси, видеть в этом не конец, а некую необходимость, *conditio sine qua non* (обязательное условие) сознания. Прийти к сознанию (не к словам о сознании, а к *самому*) — большой мировой риск, если знать, что сознание — *само* — достигается не иначе, как через свободу. Причем уже не на прежний лад ге-

роического ницшеанства, а совсем иначе. Нужно только представить себе старое библейское: «*И будете как боги*», — выкрикиваемое в микрофон где-нибудь на стадионе, площади, дискотеке или в университетской аудитории, после чего свежеспеченным богам-подросткам только и остается, что сдвигать черту предела в параболическом приближении к беспределу. Что значит: в состоянии буйного умственного помешательства, называемого в психиатрии «*амок*», а в конституционных правах «*свободой*», исказить и обесмысливать мир Божий до неузнаваемости, до той самой черты, после которой либо мир проваливается ко всем чертям, либо — *если бесноватый остановится и придет в себя* — черти проваливаются из мира, но уже такого мира, где больше нет места братьям-двойникам: тому, чья вера в Бога есть просто вера в какого-то небесного фокусника, и тому, кто с полным на то правом объявляет этого фокусничающего Бога несуществующим.

## 7

После нулевого 1945 года мир в нарастающих темпах сдвигается под знак французского 1789 года. Разумеется, в англосаксонской редакции. Это новый акт Творения, нечто вроде Шестоднева в измерении истории: экранизация мира по просветительскому сценарию в соавторстве — Ламетри—Руссо—Сад (автор идеи и продюсер — Джон Локк). Можно предположить, что худшего испытания Католической церкви не выпадало со времен распада Каролингской империи и после Реформации. Но если тогда ей удавалось решать проблемы и даже выходить из них обновленной (в клюнийском движении, а после и в Контр-

реформации), то на этот раз всё оказалось гораздо сложнее. Особенностью прежних испытаний был их имманентный характер. Конфликт назревал и разражался внутри церковно положенной гомогенной атмосферы, за отсутствием чего-то, что выходило бы за её пределы. Короли и императоры могли иметь какую угодно власть и какие угодно амбиции; решающим оставалось то, что мир, в котором и которым они правили, был христианским, то есть католическим, а сами они — христианами и, значит, католиками, что позволяло папству, если не *de facto*, то, по крайней мере, *de jure* сохранять приоритет и выкручиваться из самых плачевных ситуаций (вроде авиньонского пленения или пощечины, данной Бонифацию VIII французским министром Гийомом де Ногаре). Иначе и сложнее было это в случае Лютера, посягнувшего на самую имманентность, которая, в его немецкой оптике первохристианина, перестала быть христианской. Лютер провел водораздел в самом христианском мире, разделив его сперва на собственно христианский (свой) и антихристианский (римский), а потом уже в своём всё больше и больше стирая границы между церковным и секуляризованным. Это было серьезным ударом, и если Риму удалось выдержать его и даже отыграться, то не иначе как тому острослову из комедии Ожье, который в течение месяца семь раз переболел насморком и оправился от всех разов, кроме первого. Конец католического тоталитаризма был предначертан не внутрицерковным разделом, а возникновением *гетерогенного* мира, если и связанного всё еще с Церковью, то преимущественно по воскресным дням. Между тем



сила и харизма Римской церкви на том всегда и держалась, что её мир, давно переставший быть христианским *по сути*, продолжал оставаться таковым *по форме*. Старая политическая теология двойного тела короля сохраняла свою значимость в применении и к папскому телу. Патологические бесчинства духовенства по всей иерархической лестнице сверху донизу не только не составляли никакой тайны еще со Средних веков, но и были общим местом (педофилия сегодняшних клириков не должна удивлять, если воспринимать её в знаке преемственности); иные сценки с участием всего персонала, от пап до рядовых монахов, казались списанными с петрониевского «Сатирикона», и уже с XIV века девизом кутил и пьяниц

было «*bibere papaliter*» (пить по-папски). Это порочило отдельных святых отцов, но не само *панство*, которое именно в качестве номена оказывалось реальнее своих эмпирических носителей. Говоря грубо, но точно: бессмертие католического Кашея заключалось в том, что из него некуда было деться: даже от ада откупались прижизненно (по ценнику Тетцеля отцеубийство обходилось в 4 дуката, а содомия в 12), а попав в него, чувствовали себя всё еще дома (пусть в подвальном этаже, но всё же дома). После

**Нужно только представить себе старое библейское: «И будете как боги», – выкрикиваемое в микрофон где-нибудь на стадионе, площади, дискотеке или в университетской аудитории, после чего свежеиспеченным богам-подросткам только и остается, что сдвигать черту предела в параболическом приближении к беспределу.**

Реформации стало наконец возможным переселяться в альтернативную действительность протестантских Церквей, а от них уже было рукой подать до абсолютно гетерогенного мира. Современный либерализм в раскачке самореализации от Эйнштейна, Фрейда и Чаплина до взбесившихся панк-политиков и гендеро-жижекков есть лишь окончательное приведение к нелепости старого католического вия, от которого сегодня только и осталось, что фантомные формы и скелеты в шкафу.

«Как тяжело ходить среди людей / И притворяться непогибшим» (Александр Блок). И даже: не притворяться, а мертвым продолжать жить. Как раз оттого, что не знаешь, что мертв. Консерватизм (любой) тягостен не тем, что он бесповоротно обречен, а тем, что он никак не хочет осознать свою обреченность, мертвой хваткой вцепляясь в жизнь и не отпуская её даже там, где её уже нет. Это призраки, которые ровно столько времени маячат перед глазами, сколько нужно, чтобы — быть. Они и *есть*, все эти гламурные гляцевые укрупненные величества и высочества, только уже не в том же мире, что их анекдотические псевдоподданные, а в некой медийной проекции, очерченной границами цифровых онтологий. Им (особенно отпрыскам) дозволяются даже маленькие шалости из обширного ассортимента свобод и прав. Они носят джинсы, едят бигмаки, пьют пиво, курят марихуану, пляшут на дискотеках, дебоширят, блудят, гибнут в автомобильных катастрофах — разумеется, в рамках фокусного расстояния объективов. Либеральные хозяева жизни ведь на то и либеральные, чтобы давать жить даже галлюцинациям, при условии что либеральны и сами галлюцинации, вопреки собственным геральдикам и родословным. Характерно, что из обеих зарегистрированных у Данте властей (*duplex potestas*) Средневековья, *королевской* и *папской*, до наших дней дожили обе. Чтобы понять их, не понадобится никаких особых усилий — только способность к адекватному восприятию и крупица здравого смысла. Нужно быть действительно покинутым всеми демонами душевного здоровья, чтобы обнаружить в статусе сегодняшней коро-



Эдуард Швайцер. Генрих IV перед Каноссой. 1869 год

После нулевого 1945 года мир в нарастающих темпах сдвигается под знак французского 1789 года. Разумеется, в англосаксонской редакции. Это новый акт Творения, нечто вроде Шестоднева в измерении истории: экранизация мира по просветительскому сценарию в соавторстве — Ламетри—Руссо—Сад (автор идеи и продюсер — Джон Локк). Можно предположить, что худшего испытания Католической церкви не выпадало со времен распада Каролингской империи и после Реформации.

левской власти что-либо еще, кроме мишуры, дизайна и шутовства. С папством обстоит хоть и намного сложнее, но по существу всё в той же топике сенильности. (Есть, правда, еще и третья — тоже средневековая — власть, уже с момента своего появления заставившая потесниться обе первые, а со временем в совершенстве перенявшая их замашки: *университет*. Но о ней придется поговорить как-нибудь в другой раз.)

## 9

Судьба Римской церкви после Второго Ватиканского собора (1962–1965) напоминает тяжкую осаду крепости, защитникам которой дан единственный шанс на спасение (сохранение лица): самим снять осаду и, приветливо улыбаясь толпам репортеров и зевак, распахнуть двери, подземелья, хранилища, сейфы — при условии, конечно, что случившееся будет поднесено не как поражение, а как приверженность демократическим ценностям и готовность к диалогу. Главное: они могут только обороняться, даже не думая о том, чтобы атаковать самим. Притом что жертвовать приходится самым важным — тем, на чем всегда держалась эта могущественнейшая твердыня западной истории: *закрытостью и тайной*. Либерализм с его культом абсолютной проницаемости не терпит никаких тайн и истребляет их силою медийной маго-мафии. Это мир культивируемых относительностей, не признающий никакого абсолюта, кроме самой культивируемости относительного. Его конец, по аналогии со смертью Кашея Бессмертного, на конце иглы, которая, минуя сказочный реквизит яйца, утки, зайца, сундука и дерева, — в *свободной прессе*. Оттого и держится он столь яростно за свободу прессы,

что малейшая уступка по этой части ознаменовала бы начало его конца. Речь идет о некоем альтернативном аналоге Творения: мире, ежесекундно возникающем из *слухов* и *новостей* и исчезающем со *слухами* и *новостями*, скорость которых приближается к скорости света. Особенность этого мира в его *абсолютной выставленности напоказ*: старое библейское *игольное ушко*, которое при случае расширяется до неба, потому что легче верблюду пройти через него, чем иному двуногому попасть на небо, пародируется здесь *зачерченной скважиной*, расширенной до дверей, стен, домов, городов, стран, пространств, вселенной. В этом мире снесенных перегородок есть свои маленькие и большие региональные онтологии: кухни, соединенные с гостинными; маленькие голландские дома с огромными освещенными окнами без занавесок (потому что занавески ущемили бы право случайных прохожих видеть и знать, как там живут); голландские же улицы с множеством открытых кабинок-писсуаров; реальное телевидение справления нужды, случек или ковыряния в носу, после чего рейтинги передач зашкаливают за все возможные пределы; онлайн-трансляции выяснения отношений, заканчивающиеся мордобоем; шоу-показ скелетов в шкафах в режиме реального времени. Наконец, гигантская карикатура таинства исповеди, где исповедуются уже не исповеднику в окошко исповедальни, а миллионам френдов и телезрителей в формате блога или в микрофон. Вынудили же американского президента-шалуна краснеть на весь мир при оглашении мельчайших подробностей его сношения с одной практиканткой, которое, как определили юристы, вовсе не было сношением, потому что сношение — «это

когда...», а тут было без «когда...». Даже цюрихская масонская ложа *Modestia cum Libertate* провела несколько лет назад день открытых дверей, чтобы каждый желающий мог прийти и убедиться, что никакие «мы» не заговорщики, а просто — масоны. Потому что сам заговор сегодня — это всё те же голландские окна без занавесок: *open conspiracy*, как это еще в 20-е годы прошлого столетия внушал Герберт Уэллс, фабианец, фантаст и филантроп. Ну и каково же Ватикану с его тысячелетними тайнами сопротивляться этой, говоря словами Альваро д'Орса из одного письма к Карлу Шмитту, «порнодемократии»? В эпоху планетарной течки и утечки информации под техническим названием «*викиликс*». Второй Ватиканский собор — характерно его синхронное протекание с коммунистическим XXII съездом — подвёл итоги и поставил точки над «и». Церковь, писал в 1983 году Йозеф Ратцингер, «в приступе эйфории и оптимизма» открылась современности. Согласно другому — более правдоподобному — диагнозу, это было приступом не «эйфории и оптимизма», а отчаяния и безысходности. В предпосланной собору энциклике 1959 года *Ad Petri Cathedram* недвусмысленно говорится о его цели: приспособлении (*accommodatum*) к нуждам и обычаям нашего времени. Под знаком обновления, или осовременивания (*aggiornamento*), — почему бы не сказать «перестройки»? — Церкви. Вопрос: что это за обычаи «нашего времени», к которым готова приспособиться Церковь, сама веками творившая обычаи? Из длинного перечня таковых назовем немногие и основополагающие — те, которые возникали параллельно и на глазах: в религии четырехголосистых лемуринов, объявивших себя популярнее Иисуса



**Это слияние «черного» и «белого» пап в одном лице – симптом необыкновенной важности, указывающий, как кажется, на то, что время блаженных блажей осталось в прошлом и что Церкви придется решительнее заботиться о своей вменяемости. Вот только рассчитывать при этом на какой-нибудь успех – в атмосфере всеобщей, изо дня в день нарастающей мировой невменяемости – она вряд ли станет, а играть роль самоубийцы ей просто не дадут, даже если бы она дошла до этого.**

Христа, в бойкотировании опрятности и элементарных гигиенических норм, в студенческих уличных буйствах, в свальном греху студенческих же коммуналок. Словом – в *воцарении босяка*. Вот какой современности открылась Церковь, и вопросом было не только: как далеко это могло пойти, но и: как долго это могло продлиться.

#### 10

Не секрет, что люди прессы решают, *кто есть кто* и *что есть что*, после чего меченые «кто» и «что», получив свое второе – «политическое» – тело, катапультируются в пространство публичности. Это правило значимо для всех ниш соци-

ального и не знает исключений. Сюда относятся миллиардеры и футболисты, писатели и боксеры, эстрадные певцы и парикмахеры, принцы и портные, президенты и дирижеры, политики и бандиты, телеведущие и серийные убийцы, педофилы и адвокаты, философы и феминистки, при случае даже домашние животные: собаки, кошки, лошади, кролики, хомяки, попугаи – в зависимости от дома и степени раскрученности хозяев. Понятно, что свое место отведено здесь и Церкви, прежде всего высокому духовенству, раскрутка которого ведется всё в том же привычном режиме температур и давлений. В романе Гюго «Собор Парижской

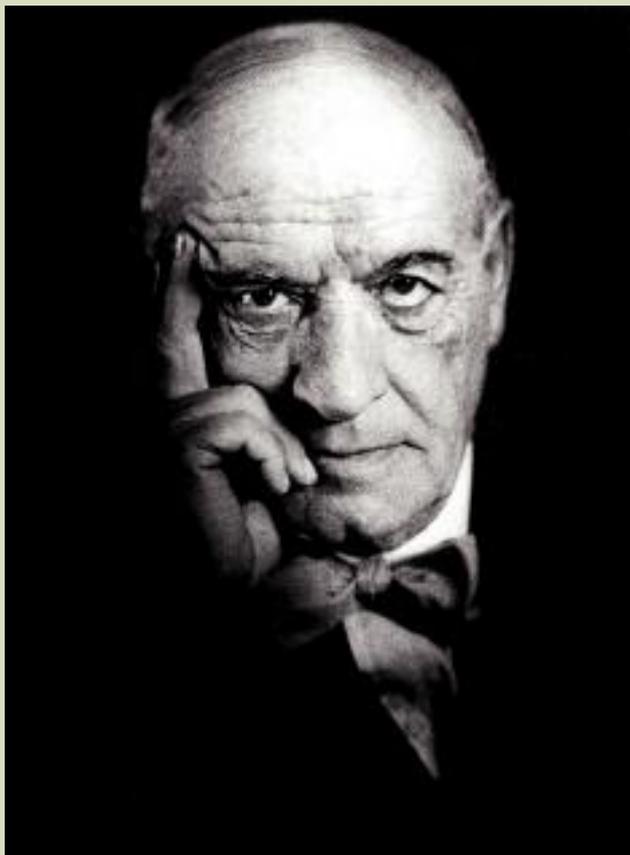
Богоматери» есть сцена, где священник Клод Фролло, глядя сквозь окно своей кельи на собор, переводит взгляд на лежащую перед ним книгу и произносит: «Это убьет то». Книга убьет здание. В сегодняшней редакции фраза выглядит иначе. Место собора заняла здесь книга, а место книги – убивающий её экран персонального компьютера. Со Второго Ватиканума Римская церковь стремится сократить разрыв, как бы невольно имитируя протестантские практики с дискотеками в церквях и Богом в роли диск-жокея. Что она сокращает на деле, так это лишь сроки своей смерти. Блаженный папа Иоанн Павел II добился здесь внушительных успехов. Нужно только вспомнить его покаяния и извинения: за бесчинства крестоносцев, инквизицию, расколы и войны, Варфоломеевскую ночь, суд над Галилеем. Несомненно, это был первосвященник как раз по вкусу либеральной публики, и если его время от времени заносило в неуступчивость, то

это с лихвой компенсировалось эксцентрикой его демаршей, вроде присутствия в качестве слушателя на концерте рок-звезд в Болонье в 1997 году или провозглашения святого Исидора Севильского покровителем Интернета. Его немецкий преемник, которого пресса невзлюбила с самого начала (немец — это вообще аллерген Запада, а немец-папа — чёрт знает что), оказался в этой связи гораздо менее удачливым. Ему не прощали и доли того, что прощали его блаженному предшественнику, потому что в его решениях и реакциях, хоть и столь же половинчатых, не было блажи, а были пусть едва слышимые, но явные нотки старого ненавистного немецкого протеста. Чего стоит уже одна ссылка на Мануила II Палеолога, вызвавшая бурю негодования в исламском мире: «Покажите мне, что нового принес Мухаммед, и вы найдете злые и бесчеловечные вещи вроде повелений мечом насаждать проповедуемую им веру». Или снятие отлучения с четырех епископов-лефевристов, отлученных предшествующим папой, в том числе и с Ричарда Уильямсона, известного своим отрицанием газовых камер и Холокоста. Добровольный уход Бенедикта XVI был, конечно, вынужденным, и если он мотивировался состоянием здоровья, то речь, скорее всего, шла не столько о личном недуге, сколько о недуге самой Церкви; со здоровьем Иоанна Павла II никоим образом не обстояло лучше, но этот папа предпочел уйти не на покой, а в блаженство, где только и делал, что демонстрировал готовность к диалогу, целуя Коран и выпуская музыкальные компакт-диски. В этом — разумеется, с соответствующими поправками — было что-то от Брежнева, вернее, не

самого Брежнева, а Брежнева из анекдотов о Брежневе. Журналисты, захлебываясь от восторга, писали о понтифике, «еще раз доказавшем, что Католическая церковь идет в ногу со временем», что хоть и было сильным преувеличением, но достаточно точно передавало тенденцию. Эти промахи и пытался нейтрализовать немецкий папа, робко напоминая *urbi et orbi*, что Церковь — не место встречи молокососов, в том числе и посевших, а нечто *серьезное*. По существу, это был транзитный папа, взявший на себя бремя перехода от католической Реформации Второго Ватиканума к чаемой столь многими католической же Контрреформации. Выбор, павший после его ухода на аргентинского кардинала Бергольо, говорит в пользу этого предположения. Франциск I, или просто Франциск («Франциск, и баста!» — как закрыл тему один кардинал), оказался, по всей видимости, лучшим кандидатом на эту роль. Он — не немец, а значит, не отягощен врожденным пороком вины и необходимостью всё время извиняться. К тому же он именно Франциск в ауре ассизского «беднячка»: в момент провозглашения его понтификом он появился просто в белой сутане и с надгрудным железным крестом вместо шелковой столы и золотого креста, а в бытность кардиналом жил в маленькой квартире и ездил на общественном транспорте. Его давнишний конфликт с либеральным аргентинским правительством, охарактеризовавшим резкое неприятие им однополых браков как «Средневековье», дает ему еще один козырь в возможной реорганизации и радикализации позиций. Наконец, он *иезуит*, то есть член той самой военно-монашеской

организации, которая была создана во время Тридентинума и на фоне которой официальное папство стало больше походить на «потемкинскую деревню», чем на престол. Это слияние «черного» и «белого» пап в одном лице — симптом необыкновенной важности, указывающий, как кажется, на то, что время блаженных блажей осталось в прошлом и что Церкви придется решительнее заботиться о своей вменяемости. Вот только рассчитывать при этом на какой-нибудь успех — в атмосфере всеобщей, изо дня в день нарастающей мировой невменяемости — она вряд ли станет, а играть роль самоубийцы ей просто не дадут, даже если бы она дошла до этого. Церковь, насчитывающая более миллиарда приверженцев, *нужна во всех смыслах* — экономическом, политическом, культурном, и более чем очевидно, что никто ей не даст деградировать *полностью и окончательно*. В общем пасьянсе мировой колоды карт ей отведена роль диалектически необходимого контраста: некоего хранителя традиции по воскресным и праздничным дням. Портить её не имеет смысла, потому что кто же сделает это лучше нее самой. Просто грязь должна подаваться в строго дозированных порциях — так, чтобы на «меньше» тут всегда было «больше», а на «больше» — «меньше». Главное, чтобы степень маразма не превышала критический (заранее установленный) уровень: можно было бы условно назвать его «планкой Кароля Войтылы». Не исключено, что новому иезуитскому папе будет даже позволено подергаться сильнее обычного в обличении пороков и язв современного мира. Когда он умрет, его просто причислят к святым. ☪

Базель, 28 апреля 2013 года



ра – возделывание и строительство, сеющие среди людей мир. Социализм – строитель великого мира на земле. Как же мне не потрудиться во имя того, чтобы социализм в основе своей перестал наконец означать враждебность, отрицание, борьбу? Нет, нет, мы, социалисты, отнюдь не только враги наших врагов, у нас есть идеал неисчерпаемого творения, вокруг которого люди группируются и объединяются, к которому они причащаются и который помогает им научиться жить вместе.

Не знаю, возможно, то, что я скажу, удивит вас: ведь вас учили, что главная формула социализма – борьба классов. Поэтому я и не вступил в вашу партию, хотя мое сердце сочувствует вам. Нас разделяет только одно определение: вы социалисты-марксисты, а я – не марксист».

■

«Карл Маркс никогда не говорил, что человеческая история состоит лишь из экономических

# Хосе Ортега-и-Гассет

## Из работы «О социализме без берегов»

«Социализм – самое весомое и благородное, боговдохновенное слово в современном этическом словаре, в этом понятии не может заключаться лишь одно отрицание. <...> Социализм для меня не абстрактная категория, подобная научным терминам, это не нечто вне меня, что я могу допустить или исторгнуть из своей души. Для меня социализм – новое слово, слово евхаристическое – слово причастия, причащения, символизирующее все те добродетели, которые несут в себе обновление, все плодотворные устремления и созидание. Для меня социализм и человечество – два слова-синонима, два разных названия одной и той же высшей идеи. И когда они произносятся энергично и с убежденностью, тогда сам Бог является во плоти и поселяется среди людей. Социализм для меня – это культура. А культу-

реальностей. Да и как он мог такое сказать, если для него экономическое было только царством средств? Да, единственным объектом интереса было царство средств, но он никогда не отрицал царства целей. Имеют ли они смысл без средств? Могут ли существовать средства, которые не являлись бы средствами для чего-то еще? Вся экономика – это в чистом виде средство для того, что экономикой не является.

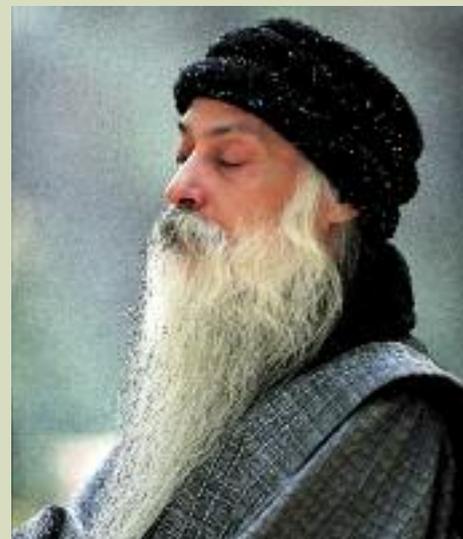
Интерес Карла Маркса заключался в том, чтобы раз и навсегда определить, что все составляющие социальной человеческой истории – религия, политика, мораль – всегда выступают как формы экономической реальности и не имеют смысла без их соотнесения с экономической сферой».

## Из книги «От медицины к медитации»

«Думайте о себе только как о человеческом существе. Если у вас есть интеллект, думайте о себе просто как об обычном человеческом существе. А когда ваш интеллект вырастет еще немного, отбросьте даже прилагательное “человеческий”. Вы будете думать о себе только как о сущности. А понятие сущности включает все: и деревья, и горы, и реки, и звезды, и птиц, и животных. <...> Но вы думаете, что живете в великих идеологических системах. Вы не живете в великих идеологических системах, потому что не существует великих идеологических систем. Не бывает идей достаточно больших, чтобы вместить человеческое существо, бытие не может

содержаться в какой-либо концепции. Все концепции калечат и парализуют.

Не будьте католиком или коммунистом, просто будьте человеческим существом, а те понятия – просто яды, просто предрассудки. Настоящая свобода – это свобода от идеологии. Неужели вы просто жить не можете без идеологии? Является ли идеология необходимой? Почему идеология является настолько необходимой? Она нужна, потому что она помогает вам продолжать оставаться глупым, она нужна, потому что она помогает вам оставаться неумным. Она нужна, потому что снабжает вас готовыми ответами и вам не нужно находить их самому.



По-настоящему умный человек не примкнет ни к одной идеологии, да и для чего?»

## Из книги «Алмазная Сутра»

«Будда Гаутама родил вид духовности, которая является неподавляющей и неидеологической. Это – очень редкое явление. Обычный вид духовности, культивируемая ее разновидность, очень подавляющая. Она зависит от подавления. Она не преобразует человека, а лишь уродует. Она не освобождает человека, а порабощает. Она насильственна, уродлива. Будда неидеологичен, он не дает никакой идеологии, так как все идеологии от ума. А если идеологии от ума, они не могут вывести вас за пределы разума. Ни одна идеология не может проложить мост для достижения запредельного разума. Все идеологии должны быть отброшены, только тогда будет отброшен разум. Будда не верит ни в какие идеалы, так как все идеалы создают в человеке напряженность и конфликт. Они разделяют, они творят горе. Вы – это одно, а они хо-

тят, чтобы вы были чем-то иным. Между этими двумя точками вы и растянуты, разорваны на части. Идеалы творят несчастья. Идеалы создают шизофрению. Чем больше идеалов, тем более шизофреничны люди, тем больше они расщеплены. А если вы расщеплены, как можете вы быть счастливы? Как можете вы быть в тишине? Как можете вы знать что-то о мире, о покое?

Идеологическая личность постоянно борется с собой. Конфликт присутствует в каждый момент. Человек живет в конфликте, живет в разочаровании, так как не может решить, кем он в действительности является – идеалом или реальностью. Он не может себе верить, он начинает себя бояться, он утрачивает доверие. А раз человек утратил доверие, он теряет всю славу. Тогда он готов стать рабом кого угодно: любого жреца, любого по-

литикана. Тогда он готов и ждет того, чтобы попасться в ловушку. Адольфы гитлеры, иосифы сталины и мао цзэдуну будут появляться вновь и вновь, пока не будут отброшены все идеологии. И помните: когда я говорю “все идеологии”, это значит – все идеологии. Я не делаю никакого различия между благородными идеологиями и не такими благородными. Все идеологии опасны. В действительности благородные идеологии более опасны, так как обладают соблазнительной мощью, они более убедительны. Но идеология, как таковая, это болезнь, точнее нездоровье, так как вы становитесь раздвоенными: идеал и вы. И тогда вы, как вы есть, проклинаетесь, а вы, которыми вы не являетесь, восхваляете. Так вы попадаете в беду. Теперь, раньше или позже, вы станете невротичны, психопатичны или что-нибудь в этом роде». ☞